

РИЧАРД СЕННЕТ

Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость и безразличие¹

Жесткость и чуждость

Прежде всего необходимо напомнить, что, хотя города так же стары, как человеческая цивилизация, исследования города существуют всего около столетия. Они начались в социологии и географии, затем распространились на экономику, политическую науку и — позднее — антропологию. В социологии первые современные исследования городов были проведены немецкими авторами — такими, как Вебер и Зиммель; эта «берлинская школа» на рубеже веков вдохновила некоторых ее американских учеников на совместную работу в данном направлении, и соответствующая деятельность велась в Чикагском университете в 1910–1940-х годах.

И «берлинская», и «чикагская школа» сформировались в эпоху бюрократической стабилизации. Капитализм XIX века зачастую был анархичным и неорганизованным, но это не было результатом сознательных усилий. В Германии в бисмарковскую эпоху предпринимались попытки преодоления таких кризисов путем укрепления связей между государством и частными предприятиями; государство должно было исправлять недостатки рынка. В Соединенных Штатах последовательное создание монополий Рокфеллером, Гулдом и Карнеги также было нацелено на борьбу с конкурентными проявлениями рынка. «Стремление к порядку», по

¹ Richard Sennett, 'Capitalism and the City,' in: Yuri Kazepov (ed.), *Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion*, Blackwell: Oxford, 2005, p. 109–122.

выражению историка Роберта Уэйба (Wiebe 1967), заставляло укрупнять предприятия и усложнять внутренние бюрократические структуры. Такое развитие, в свою очередь, не могло не сказаться на городах и на том, что могли рассказать об данных процессах урбанисты.

На этом пока можно ненадолго прерваться, чтобы рассказать о другой стороне городской диалектики, — о значении, придаваемом чужакам и чуждости. Это было своеобразным «коньком» Георга Зиммеля. В одном из писем он писал своему другу о *Potsdammerplatz* в Берлине, вспоминал какофонию языков, которые он слышал, странные костюмы людей на большой площади. Как он написал позднее, «горожанин — это чужак». Под этим он имел в виду, пользуясь современным жаргоном, «инаковость» (*alterity*), а не различие: не неизменную классификационную схему идентичности, а скорее неизвестного другого, отмеченного чуждостью. «Инаковость» — это провокатор, источник тревоги, так как тебе неизвестно, что будет делать другой, как он может себя повести. И каждый из нас, оказавшись в толпе, испытывал такое ощущение неловкости, дискомфорта.

Сила чуждости имела смысл во времена Зиммеля. Берлин тогда переживал миграцию из деревни в город, и эти мигранты прибывали не из Восточной Пруссии, а из Польши, Венгрии и с Балкан: они не говорили по-немецки и приносили с собой элементы крестьянской культуры. Важно, что на этом этапе капитализма еще не существовало никакой культуры массового потребления, объединявшей людей как социальных субъектов в городе: консолидация производства предшествовала стандартизации потребления, так что желания, вкусы и образы жизни были тогда дискретными и экзотичными. Нетрудно провести параллель с Нью-Йорком в 1900 году: пестрый мир иммигрантов нижнего Ист-Сайда, зажатый между Уолл-Стрит на юге и буржуазным, протестантским районом вокруг Вашингтон-сквер на севере. «Инаковость» составляла материальное условие городской жизни.

Чуждость как инаковость — это та сила, которую Зиммель превозносил в городах. Подобно Джойсу или Прусту (Пруст 2005–2007), Зиммель считал чужака носителем новой свободы. Я приведу американский пример того, что он имел в виду. Когда в 1906 году Уилла Кэсер окончательно переехала в Гринвич-виллидж в Нью-Йорке, она написала своей подруге: «теперь, наконец, в этом непонятном месте, я могу спокойно дышать» — в городе ее перестал мучить страх, который она испытывала в одноэтажной Америке, страх, связанный с возможным преданием огласке того, что она лесбиянка. Зиммель стремился показать, как на переполненных улицах и площадях раскрывалась свобода чуждости, свобода инаковости. На публике горожанин надевал маску невозмутимости и действовал холодно и безразлично; но в частной жизни эти контакты с чуждым возбуждали его, а его самоуверенность в присутствии других оказывалась лишь напускной: за защитной маской бурлила субъективная жизнь (Зиммель 2002).

Это, конечно, крайне романтическое описание города, но оно стало настолько влиятельным потому, что субъективное ощущение чуждости возникало именно там, где правили формирующиеся силы бюрократической жесткости. Бюрократическая жесткость, конечно, была «коньком» Макса Вебера, коллеги Зиммеля. В Берлине той эпохи достаточно было взглянуть на страховые компании, банки и железнодорожные корпорации, находившиеся в строениях, по виду напоминавших египетские храмы или ренессансные дворцы, чтобы увидеть воплощенное в камне стремление к экономической стабильности.

Ученику Зиммеля Роберту Парку и ученику Парка Луису Вирту мы обязаны анализом того, как организационное оформление капитализма может отражаться на территориальной структуре города, а не только на его архитектуре. Хотя Парк (Парк 2006) оставался верным идеям Зиммеля относительно городской субъективности, каковые молодой американец связывал с «моральным порядком» города, по возвращении в Чикаго его привлекла обратная сторона медали. И Парк, и Вирт стремились описать экологическое разделение земли, основанное на разделении труда в современном капитализме. Наиболее интересными картами города, созданными «чикагской школой», были карты распределения в городе различных функций; они приведены, к примеру, в книге с поразительно скучным названием «Сто лет оценки земельных участков в Чикаго» Хомера Хойта (Нотт 1933). Эти данные о функциональной сочлененности городского пространства Луис Вирт напрямую связывал с феноменом бюрократизации.

Как же тогда привязать экологию города к фигуре чужака и свободе инаковости? Каким образом город как «место на карте», по выражению Парка, и «моральный порядок» могут быть совмещены? Чикагские урбанисты в качестве ответа предложили образ горожанина как внутреннего мигранта, путешествующего по городу как экологической системе. Вирт (Вирт 2005), например, представлял город как мозаику различных ролей в различных местах — то, что он называл «сегментированными ролями», — но он утверждал, что субъект не ограничивается своими ролями в пространстве. Идея субъекта, стоящего над своей средой, знакома нам по работам современника Вирта Вальтера Беньямина (Беньямин 1996), особенно по беньяминовской фигуре фланера. Менее притязательного Вирта интересовали примеры второго поколения иммигрантов в Чикаго и складывающейся черной буржуазии в городе. Обе группы казались ему одновременно помещенными во вполне определенную городскую экологию и способными перемещаться через заданные территории. В отсутствии для них единого определения, в их множественных идентичностях и заключалась их свобода.

Диалектика между чуждостью и жесткостью определяла, так сказать, ментальный компас современных исследований города с самого их появления. Как и всякая серьезная область культуры, она содержала в себе противоречия и разрешала их. В визуальной сфере, например, город

ской дизайн того времени пытался избежать тревожной чуждости города и при этом сохранить свободу горожанина. В этом состоит главная драма «Плана Чикаго» Дэниела Бернема (1909), который пытался одновременно установить жестко функциональный порядок в городе и смешать в каждой из его зон различные классы и иммигрантские группы. Немецких и венских градостроителей одновременно привлекали здоровые черты британского движения за город-сад Эбенезера Говарда (Howard 1902) и отталкивала его инфантильная упрощенность.

Многие материальные условия, которые сформировали начальный этап городских исследований сто лет тому назад — например, приток в города иммигрантов, — продолжают сохраняться и сегодня. И мы продолжаем считать инаковость социальным условием, которое обеспечивает субъективную свободу, свободу от произвольного определения и идентификации. Но в капитализме произошли серьезные перемены, и эти перемены в политической экономии изменили как природу самого города, так и интеллектуальные инструменты, необходимые для понимания нашей эпохи.

Гибкость и безразличие

Когда мы говорим о новой стадии в развитии капитализма, мы имеем в виду два феномена. Первый — глобализация потоков капитала и рабочей силы. Вторым являются трансформации в производстве, то есть изменения в институтах и бюрократии, создающие более гибкие формы трудовой деятельности.

Слово «новый» вызывает подозрения, потому что оно принадлежит к области рекламы. Миграция рабочей силы и многонациональные финансы не новость для капиталистической экономики, но в последнее время в них произошли изменения. Банки больше не работают в национальных границах; трудовые мигранты находят новые международные пути. Изменения, связанные с самими рабочими местами, также произошли не на пустом месте. Анархо-синдикалисты давно выступали за менее жесткую организацию трудового процесса, но по иронии судьбы эта идея была подхвачена современными капиталистами.

Поскольку о бюрократической революции, которая сделала капитализм гибким, говорят меньше, чем о глобализации, имеет смысл остановиться на ней чуть более подробно.

Веберовское описание рациональной бюрократии (Weber 1922) основывалось на аналогии между военной и деловой организацией. И в том, и в другом случае использовался образ бюрократического треугольника; чем больше прогрессировало рациональное разделение труда, тем сильнее менялись кадровые запросы; потребность в различных видах солдат и рабочих росла быстрее, чем потребность в генералах или руководителях. Цепь инстанций в этом треугольнике выстраивалась в соответствии с принципом, согласно которому каждая ниша выполняла

свою особую функцию; эффективность требовала как можно меньшего дублирования функций. Таким образом, генерал может стратегически контролировать части, находящиеся далеко от его командного пункта; руководитель корпорации определяет, как работает сборочная линия или вспомогательный офис.

В промышленном производстве воплощением веберовского треугольника стал феномен фордизма, своеобразного военного микроуправления временем и деятельностью рабочего в соответствии с указаниями горстки вышестоящих специалистов. Его можно проиллюстрировать на примере автомобильного завода Уиллоу Ран, принадлежащего *General Motors*: огромное здание в милю длиной и четверть мили шириной, в которое с одной стороны завозились стекло и железо, а с другой выезжали готовые автомобили. Только строгий режим позволял координировать такое масштабное производство. «Белые воротнички» на своей шкуре испытали все прелести подобного производственного процесса в 1960-х в корпорациях наподобие *IBM*.

Но тридцать лет тому назад фирмы начали восставать против веберовского треугольника. Они пытались сделать организации менее «многослойными», упраздня бюрократические слои и используя вместо них новые информационные технологии. Они пытались разрушить практику жестко функционального труда, заменяя его командами, работающими какое-то время над определенными задачами, — командами, создаваемыми заново при запуске организацией новых проектов. Подобно тому, как такие методы позволили фирмам ответить на новые возможности рынка, так и организации пытались создавать внутри себя своеобразные рынки. В этой новой бизнес-стратегии команды конкурируют друг с другом, пытаясь как можно скорее выполнять задачи, спускаемые сверху. Такие внутренние рынки опровергают старую веберовскую логику эффективности; вместо выполнения своего ограниченного объема работы в определенной цепи инстанции, множество различных команд соперничает между собой за более быстрое и качественное выполнение одной и той же задачи.

Все эти методы призваны сделать корпорации гибкими, способными быстро меняться изнутри в ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства.

Апологеты этого нового мира труда утверждают, что он более демократичен в сравнении с организациями прошлого, построенными по военному образцу. Но в действительности это не так. Вместо веберовского треугольника новым образом власти может служить круг с точкой в центре. В центре немногочисленные руководители отдают распоряжения, принимают решения, ставят задачи, оценивают результаты; информационная революция обеспечила более надежный контроль над работой корпораций, чем при старой системе, когда указания часто менялись и дополнялись по мере прохождения по цепи инстанций. Команды, работающие на периферии, могут отвечать на задачи, постав-

ленные центром, выбирать средства для выполнения этих задач, соперничая друг с другом, но они не могут сами ставить себе задачи.

В веберовском треугольнике бюрократии вознаграждение предоставляется за работу, которую работник выполняет лучше всего; в круге с точкой оно предоставляется командам, которым удастся обыграть другие команды. Здесь, пользуясь выражением экономиста Роберта Франка, «победитель получает все» (Frank 1995), а видимые усилия больше не вознаграждаются. Эта бюрократическая реорганизация, как утверждает Франк, способствует значительному неравенству в оплате труда в гибких организациях, а материальная реальность неравенства полностью противоречит демократии на рабочем месте.

Чтобы понять влияние этой новой формы организации на городское пространство, в котором обитают люди, нам нужно выделить еще одну черту гибкости: ее временное измерение.

Мантра гибкой работы — «больше никакой долгосрочной занятости!» Краткосрочное измерение времени особенно заметно в замене четких карьерных траекторий в неизменных организациях работой, которая предполагает выполнение специфических и ограниченных задач; когда задача выполнена, зачастую заканчивается и работа. В высокотехнологичном секторе Кремниевой долины средний срок работы на одном месте составляет примерно восемь месяцев; реорганизация корпораций часто приводит к резкой и вынужденной смене работы; в меняющемся мире гибкой занятости — например, в рекламе, СМИ и финансовых службах, — добровольная смена работы происходит беспорядочно: люди совершают неожиданные и неоднозначные шаги. Наконец, в конкретной корпорации акцент на связи команд с задачами означает, что люди постоянно меняют своих коллег по работе, а современная теория управления гласит, что «срок годности» команды не должен превышать одного года.

Подчеркну, что эти изменения в институциональном времени не затрагивают сегодня весь рынок труда, подобно тому, как глобальные финансы не являются главной формой устройства финансов. Скорее, они стоят на переднем краю изменений, показывая, каким должен стать бизнес: никто не будет создавать новую организацию, основанную на принципе постоянной занятости.

Подобно тому, как пространство власти в гибкой организации исключает всякую демократию, так и временное измерение этих институтов не способствует появлению лояльности и братства. Деловые лидеры, которые некогда увлеченно занимались перетряской корпораций, начинают успокаиваться. Трудно чувствовать себя преданным корпорации, которая не имеет определенного характера, трудно быть лояльным к нестабильному институту, который не выказывает никакой ответной лояльности к тебе. Отсутствие преданности приводит к низкой производительности и нежеланию хранить секреты корпорации.

Непродолжительная занятость также сказывается на взаимоотношениях внутри компаний. Работа над решением задач сопряжена с серьез-

ным стрессом; в командах, которые не одерживают победы, на последних этапах совместной работы обычно появляются взаимные обвинения. Для развития неформального доверия, опять-таки, нужно время; и нужно хорошо знать людей, чтобы сделать с ними что-то выдающееся. Непродолжительная занятость в организации побуждает людей не напрягаться, не вникать в работу, так как она все равно скоро закончится. По сути, это отсутствие взаимных обязательств является одной из причин того, почему профсоюзам так трудно организовать работников в гибких отраслях или на предприятиях, скажем, Кремниевой долины; утрачивается понимание братства как общей судьбы, устойчивого набора общих интересов. В социальном отношении режим непродолжительной занятости приводит к парадоксальной ситуации: люди напряженно работают, но их отношения с другими остаются поверхностными. В конце концов, в этом мире тесные взаимоотношения с другими людьми не имеют большого смысла.

Моя идея состоит в том, что гибкий капитализм действует на город точно так же, как и на организацию труда. Точно так же, как гибкое производство создает более поверхностные, непродолжительные отношения на работе, этот капитализм создает режим поверхностных и отчужденных отношений в городе. Эта диалектика гибкости и безразличия бросает вызов как тем, кто живет в городах, так и тем, кто их изучает.

Диалектика гибкости и безразличия проявляется в трех формах. Во-первых, в физической связи с городом; во-вторых, в стандартизации городской среды; в-третьих, в отношениях между семьей и работой в городе.

Проблема физической связи с местом, возможно, является наиболее очевидной из трех. Степени географической мобильности для гибких работников очень высоки. Прекрасным примером служат временные работники сектора обслуживания, и временная работа является самым быстро растущим сектором рынка труда. Вероятность смены места жительства для медсестры, имеющей краткосрочный контракт, в восемь раз выше, чем для медсестры с постоянным контрактом; а для специалиста сервисной компании в одиннадцать раз выше, чем для того, кто работает только на свою компанию. Отсутствие постоянной работы означает меньшую привязанность к месту.

На более высоких уровнях экономики руководители в прошлом перемещались так же часто, как и сейчас, но их перемещения были по своей сути иными; они оставались в компании, и компания определяла их «место», область их жизни независимо от их местоположения на карте. Но новая форма занятости порывает с этим институциональным устройством. Некоторые урбанисты, вроде Шэрон Закин, интригуяще утверждают, что для этих элит определенные зоны в современном городе — «облагороженном», наполненном дорогами ресторанами и специализированными услугами — заменили корпорацию; эта новая элита стала больше привязана к своему образу жизни в городе, чем к своим ра-

бочим местам. Но эти рассуждения выглядят несколько иначе, если мы рассмотрим другое влияние гибкости на города.

Стандартизация среды возникает из экономики непостоянства, и стандартизация порождает безразличие. Это замечание, возможно, станет более понятным, если привести один пример из личного опыта. Несколько лет назад я встречался с главой высокотехнологичной корпорации в Ченин-билдинг в Нью-Йорке, здании в стиле арт-деко с превосходной отделкой офисного пространства и роскошными местами общего пользования. «Нам бы это не подошло», — заметил директор. — «У людей может возникнуть слишком большая привязанность к своим офисам; они могут подумать, что они связаны с этим местом».

Гибкий офис означает, что нет мест, к которым вы можете привязаться. Архитектура офиса гибких фирм требует физической среды, которая может быстро перестраиваться — в пределе, «офисом» становится просто компьютерный терминал. Нейтральность новых зданий проистекает также из распространенного в мире представления о них как об объектах инвестиций; кто-то из Манилы без труда может купить или продать пятьдесят тысяч квадратных метров офисного пространства в Лондоне, пространство само нуждается в единообразии, прозрачности денег. Именно поэтому элементы стиля новых зданий становятся тем, что Ада Луиза Хакстейбл называет «архитектурой оболочки» (Nuxtable 1997): внешне здания не лишены архитектурных изысков, но изнутри они всегда нейтральны, стандартны и могут быть мгновенно переустроены.

Закреплению такой «архитектуры оболочки» способствует еще один феномен, характерный для современного города. Это стандартизация общественного потребления — глобальная сеть магазинов, продающих одни и те же товары в местах одного типа, независимо от того, где они находятся — в Маниле, Мехико или Лондоне. Эта стандартизация полностью противоположна ситуации зиммелевского Берлина. Сто лет назад, несмотря на стремление к институциональной связности, потребление в экономике города оставалось неупорядоченным и незначительным. Сегодня институциональная связность нарушается, но потребляемые результаты производства и услуг становятся более однородными.

Трудно быть привязанным к какому-то одному магазину *Gap* или *Banana Republic*; стандартизация порождает безразличие. Иначе говоря, проблема институциональной лояльности на работе, теперь начинающая отрезвлять менеджеров, которые не так давно выказывали слепой восторг по поводу бесконечного корпоративного переустройства, находит свое соответствие в области общественного потребления в городе; при этом новом режиме привязанность к определенным местам испаряется. Беньяминовский образ фланера приобретает новый смысл в мире *Starbucks* и *Niketowns*: городского фланера, который может найти — по крайней мере в новом публичном пространстве — странное, неожиданное или возбуждающее, больше не существует. Нет никакой инаково-

сти. Точно так же накопление общей истории и, следовательно, коллективной памяти в этих нейтральных общественных местах сокращается. Пространство общественного потребления наступает на местные значения точно так же, как новые формы занятости наступают на общие истории работников.

Это один из подходов к интерпретации отношений между гибкостью и безразличием. Мне бы не хотелось обращаться к клише относительно городского отчуждения или говорить о тщетности поиска стимулов в городе. Скорее, визуальная экономика современного города создает новые препятствия для опыта сложности на улицах города.

В социальном отношении сочетание гибкости и безразличия создаст конфликт, невидимый невооруженному глазу. Напряженная, гибкая работа глубоко дезориентирует семейную жизнь. Феномены «раннего взросления», непрекращающегося стресса или географической оторванности, которыми пестрят страницы газет, не вполне точно отражают суть этой дезориентации. Скорее, все дело в том, что кодексы поведения, которые определяют современный мир труда, при их переносе из офиса в дом приводят к разрушению семей: не привязывайтесь, не увлекайтесь, мыслите краткосрочно. Разговоры в обществе и заявления политиков о «семейных ценностях» — это не просто отклик правых, это реакция, зачастую незрелая, но все же обоснованная, на опасности, грозящие семейной солидарности в условиях «новой экономики»; предложенное Кристофером Лашем (Lasch 1977) описание семьи как «безопасной гавани в бессердечном мире» обретает особую популярность, когда работа становится все более непредсказуемой и отнимает все больше времени. Одно из следствий этого конфликта, к настоящему времени неплохо описанного для работников среднего возраста, состоит в том, что взрослые уходят из участия в гражданской деятельности для того, чтобы укрепить и организовать семейную жизнь; это участие также требует времени и сил, которых и так не хватает для дома.

Я ввожу этот третий элемент, потому что «безразличие» может показаться моралистической и пейоративной категорией. Уход из гражданской области, забвение ее, может объясняться тем, что людям приходится разрываться между требованиями семьи и работы.

Короче говоря, когда меняются организационные, бюрократические формы общества, меняется также опыт времени и пространства. Эти совпадающие изменения во времени труда и пространстве городов, переживаемые нами сегодня, выражаются в географическом непостоянстве, влиянии непостоянства на стандартизацию в общественной области и в конфликтах между работой и семьей, офисом и домом.

Меня не слишком интересует здесь влияние глобализации на города, так как оно рассматривается многими другими критиками. Мне бы хотелось задаться вопросом, поставленным Шэрон Закин, об особых домах, которые новая глобальная элита создает для себя в городах вроде Нью-Йорка, Лондона и Чикаго. Но здесь лучше сосредоточиться на полити-

ке, чем на пентхаусах и ресторанах. Это экономическая элита, избегающая городской политики. Она хочет работать в городе, но не управлять им; она образует режим власти без ответственности.

Приведу пример. В виртовском Чикаго в 1925 году политическая и экономическая власть были глубоко взаимосвязаны: главы 80 крупнейших корпораций города входили в правление 142 больниц и составляли 70% попечителей колледжей и университетов. Политические машины и бизнес были тесно переплетены друг с другом; доходы от налогов 18 национальных корпораций в Чикаго составляли 23% муниципального бюджета. Но сегодня в Нью-Йорке и Лондоне, самых глобализированных городах мира, политическая и экономическая власть находятся в различных плоскостях. Крупные игроки мировой экономики, расположенные в городе, не участвуют в жизни общественных организаций — больниц, библиотек, университетов и школ; немногие члены советов директоров глобальных фирм, имеющих офисы в Нью-Йорке, например, входят в состав советов попечителей его образовательных институтов, а в попечительских советах больниц их нет вообще. Лондон перестал служить центром мировой буржуазии, хотя Сити по-прежнему остается финансовой столицей Европы.

Эта перемена объясняется тем, что мировая экономика больше не зависит от контроля над городом в целом. По сути, это «островная экономика», что следует понимать буквально в случае с островом Манхэттен в Нью-Йорке и архитектурно в случае с такими местами, как Кэнери-Уорф в Лондоне, которые напоминают имперские образования более ранней эпохи. Как показали Джон Молленкопф и Мануэль Кастельс, это глобальное богатство не просачивается вниз и не выходит за пределы глобального анклава — поэтому Молленкопф и Кастельс говорят о глобальных городах как о «двойственных городах» (Mollenkopf and Castells 1991).

И политика глобальных анклавов воспитывает своеобразное безразличие по отношению к городу, которое Марсель Пруст в совершенно ином контексте называл феноменом «пассивной любви». Угроза ухода в другое место породила практику огромных налоговых послаблений, которые должны убедить глобальные фирмы остаться; и такое заманивание поблажками вызвало у фирм внешнее безразличие к местам, в которых они останавливаются.

Иными словами, глобализация ставит проблему гражданства по отношению к городам и нациям. Я уже показал, что противоречивые требования семьи и работы ослабляют сегодня гражданское участие. Но существует еще одна, еще более негативная форма гражданского безразличия, особенно распространенная в верхних эшелонах глобальных организаций. Города не получают пользы от богатства этих корпораций, а корпорации не берут на себя никакой ответственности, связанной с их пребыванием в городе. Угроза ухода делает возможным такое избегание ответственности; мы не имеем политических механизмов,

чтобы заставить нестабильные, гибкие институты платить за привилегии, которыми они пользуются в городе.

Поэтому я хочу сказать, что диалектика гибкости и безразличия ставит перед городами три новые дилеммы: дилемму гражданства; дилемму пробуждения общественной жизни, поскольку непостоянство/стандартизация делают людей безразличными к публичным пространствам; и, наконец, дилемму явной и длительной привязанности к городу.

Сто лет тому назад политэкономия заговорила о необходимости освобождения от жесткости. Город воплощал эту жесткость в своей экологии, но, парадоксальным образом, в новизне и грубости городского населения само сосредоточение чужаков, казалось, также обещало бегство от этой жесткости, из веберовской железной клетки — обещание свободы.

Теперь у нас есть избавленные от рутины города глобально мобильных корпораций, гибких работников, динамичного капитализма. Парадоксальным образом, в городе эта неудержимая экономика становится причиной отхода от политики, причиной стандартизации физического пространства и ухода в частную сферу.

Судьба города

Мне бы хотелось завершить эту статью вопросом, какое значение этот новый тип городской жизни имеет для этических ценностей, которые он обычно символизировал.

Что касается социальности жизни с чужаками, то отличительной особенностью гражданской сферы сегодня является взаимоприспособление через разобщение. Это означает перемирие, позволяющее нам оставаться такими, как есть, мир взаимного безразличия. Пользуясь языком культурных исследований, в городской жизни идентичность заняла место инаковости. Это одна из причин того, почему — и это как раз хорошо — современный город оказывается «резиновым», принимая все новые волны мигрантов; можно быть уверенным, что различия никуда не исчезнут. Плохо, что взаимоприспособление через разобщение кладет конец практикам гражданства, которые требуют понимания различных интересов, и свидетельствует об утрате простого человеческого любопытства к Другому.

Что касается субъективности, то личный опыт неполноты, как кажется, достигнут к этому новому этапу капиталистической эпохи. Гибкое время серийно, а не кумулятивно; пространства гибкого времени непримечательны, нейтральны. Но здесь нет никакого левинасовского мостика, никакого понимания того, что при появлении чувства неудовлетворенности нужно обратиться к другим, к «товариществу с Другим».

В то же время сама эта проблема капиталистического времени подсказывает нам, как сделать сегодняшние города лучше. Мы хотим объ-

единить различные виды деятельности в одном пространстве (скажем, семью и работу). Неполнота капиталистического времени возвращает нас к проблеме, которой было отмечено само появление промышленного города, города, разрушившего *domus* — пространственные отношения, которые до наступления промышленного капитализма объединяли семью, труд, церемониальные публичные пространства и более неформальные социальные пространства. Сегодня нам нужно восстановить единство пространства, чтобы побороть серийное время современного труда.

На мой взгляд, искусство создания города — это не высшая математика. Ни у одного выдающегося градостроителя прошлого не было всеобъемлющей теории города; но их деятельность также не была простым отражением экономической и политической ситуации своего времени. Они стремились по-своему истолковать и преобразовать материальные условия политической экономии с помощью выразительных стен и окон, объемов и перспектив — и искусство, которое сосредоточивалось на деталях, приносило пространственные открытия в городское целое. Градостроительное искусство — это ремесло.

Сегодняшний капитализм ставит перед нами новую задачу: создавать сложность и взаимные связи в городе, который тяготеет к различию, а не к инаковости, в городе, в котором люди скрываются за стенами различия. Нам необходимо открыть ремесло, которое ответит на этот непривычный вызов.

Литература

- Беньямин, В. (1996) 'Париж, столица девятнадцатого столетия,' в: Беньямин, В. *Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости*. Москва: Медимум.
- Вирт, Л. (2005) 'Урбанизм как образ жизни,' в: Вирт, Л. *Избранные работы по социологии*. Москва: ИНИОН.
- Зиммель, Г. (2002) 'Большие города и духовная жизнь,' *Логос*. №3. С. 1–12.
- Зиммель, Г. (2007) 'Чужак,' в: А.Ф. Филиппов (ред.), *Социологическая теория: история, современность, перспективы*. СПб.: Владимир Даль.
- Парк, Р. (2006) 'Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок,' *Социологическое обозрение*. Т. 5, №1.
- Пруст, М. (2005–2007) *В поисках утраченного времени*. Санкт-Петербург: Амфора.
- Frank, R.H. (1996) *The Winner-Take-All Society*. London: Penguin.
- Hoyt, H. (1933) *One Hundred Years of Chicago Land Values*. Chicago: University of Chicago Press.
- Howard, E. (1902) *Garden Cities of Tomorrow*. London: Swan, Sonnenschein.
- Huxtable, A.L. (1997) *The Unreal America: Architecture and Illusion*. New York: New Press.
- Lash, C. (1977) *Haven in a Heartless World: The Family Besieged*. New York: Basic Books.
- Levinas, E. (1991) *Entre nous: Essais sur le penser-a l'autre*. Paris: Grasset.

- Mollenkopf, J. and Castells, M. (1991) *Dual City: Restructuring New York*. New York: Russell Sage Foundation.
- Sennett, R. (1990) *The Conscience of the Eye*. London: Faber and Faber.
- Weber, M. (1922) *Wirtschaft und Gessellschaft: Grunriss der Verstchenden Soziologie*. Tubingen: Mohr.
- Wiebe, R. (1967) *The Search for Other 1877–1920*. New York: Hill and Wang.
- Zukin, S. (1982) *Loft Living: Culture and Capital in Urban Change*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Сокращенный перевод с английского Артема Смирнова